

УДК 316.2

ВИКТОР ВАХШТАЙН,

кандидат социологических наук, декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, старший научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Института гуманитарных историко-теоретических исследований Государственного университета — Высшей школы экономики

Пост-постсоветская социология: конец первого акта

Аннотация

Статья представляет собой анализ аксиоматических допущений и языков описания, сложившихся в современной российской социологии. Автор демонстрирует на примере метафор, парадоксов и тавтологий, циркулирующих в текстах публичных выступлений социологов, воспроизводство императивов советской социологии в борьбе “неосоветских” и “антисоветских” семантик. Отстаивая тезис о ценностном суверенитете науки, автор показывает, как логика “воспроизводства советского в постсоветском” повлияла на диспозицию социологических описаний.

Ключевые слова: *язык описания, оптика, аксиоматика, метафора, тавтология, парадокс, ценностный суверенитет науки, демаркация, наивный реализм, культура подозрения*

Интеллектуальное пространство российской социологии последних несколько лет напоминает поле боя. Кажется, сегодня два из трех опубликованных социологических текстов посвящены самой социологии — социология социологии становится если не мейнстримным направлением исследований, то, как минимум, излюбленной темой публичных дискуссий социологов. Непрерывная игра идентичностями ведется посредством множественных различий “мы / они” (“мы — реальные исследователи, они — оторванные от жизни теоретики”, “мы — публичные социологи, они — постмодернисты” и т.п.). Институциональные скандалы (“Дело соцфака МГУ”,

“Куракингейт”) не столько провоцируют появление новых моделей само-описания российской социологии, сколько провоцируются ими. В этом состоянии войны всех против всех практически отсутствуют устойчивые коалиции, а межинституциональные противоречия легко переходят во внутри-институциональные конфликты.

И тем не менее, у дискурсивных битв есть одно несомненно позитивное следствие. Впервые за двадцать лет российская социология перестала воспринимать себя как постсоветскую. Распад Союза и “необходимость изучения социальных трансформаций” больше не является единственной легитимацией для занятий социальной наукой. Продолжающийся кризис (очевидно подростковый по своей симптоматике) говорит о том, что затянувшееся постсоветское детство российской социальной науки закончилось и гиперрефлексивность, навязчивая попытка самоосмысления — лишь закономерная реакция на долгое нерефлексивное существование.

Поскольку наиболее ожесточенные бои идут именно в сфере теоретической социологии, сейчас имеет смысл остановиться и окинуть прощальным взглядом то, что представлял собой ландшафт социологических языков описания накануне первых сражений — в середине 2000-х годов. А это ставит перед нами задачи интеллектуальной картографии.

Конечно, картография науки — старое и почтенное занятие социологов. (Чтобы не выходить за рамки своей компетенции я далее сосредоточусь именно на социологических языках описания.) Священная социологическая традиция, которая идет от классиков (Э.Дюркгейм) к современникам (П.Бурдьё), предписывает нам изучать центры производства знания, смотреть, какие интересы обслуживаются в этих центрах, анализировать, какими ресурсами они располагают. Особенно же внимательно необходимо исследовать, в каких отношениях — силовых и смысловых (это очень важно в бурдьевистской семантике: “силовых и смысловых”, через “и”) — они находятся друг с другом. И лишь затем — какое знание они производят. Как если бы производимое ими знание было закономерным продуктом их “силовых и смысловых” отношений.

Таков классический подход к “картографии”, его неоднократно применяли к российской социологии авторы, усвоившие аксиоматику бурдьевистских теорий [Бикбов, Гавриленко, 2002: с. 186–210]¹. У него есть только одно “слепое пятно”: само знание при подобном рассмотрении вторично, лишено активной и формирующей (если угодно: “причиняющей”) силы, производно от расстановки социальных агентов. Как будто нам достаточно узнать, в какую “структуру” “поля” включен тот или иной “актор”, чтобы понять его “практические схемы” и, следовательно, какой тип знания он “производит”. (Подобная иллюзия понимания возникает благодаря укоренившейся в социологическом мышлении культуре подозрения: “понять нечто — значит объяснить, кому оно выгодно”). Меня картография занимает лишь как картографирование языков: их сопряжения и столкновения, со-

¹ Ср.: “Мы рассматриваем социологию на кратком историческом интервале как баланс сил, складывающийся между конкретными институтами и их членами, который через результирующие его профессиональные иерархии, механизмы признания, актуальные требования и ставки порождает формы представления о социальном мире”.

вместимости и несовместимости их метафор, их логики и семантики, предлагаемых ими ресурсов воображения и мышления.

Подобное описание фиксирует два параметра. Первый — *событие коммуникации*, или событие повседневного обихода науки. А второй — *языки коммуникации*, которые обнаруживают себя в этих событиях. **Ресурсы научных описаний кристаллизуются в событиях научной коммуникации.** Соответственно, картография (в предлагаемом мною определении) представляет собой составление карты языков и тех событий, в которых эти языки получают артикуляцию.

Здесь потребуется небольшое отступление в область эпистемологии социальных наук. Правила хорошего тона требуют от автора, претендующего на критический разбор аксиом и метафор современной ему научной коммуникации, прояснения принимаемых им самим допущений.

Итак, я исхожу из того, что всякая социальная теория (сконструированная рефлексивно или принимаемая на веру по наитию) — это в первую очередь некоторый **ресурс воображения**. Центральная характеристика теоретической конструкции — *“представимость” мира ее средствами*. Наука, по меткому замечанию Хайдеггера, “сталкивается всегда только с тем, что допущено в качестве доступного ей предмета ее собственным способом представления” [Хайдеггер, 1993], а потому пополнение арсенала способов представления, техник воображения и мышления — особая область теоретической работы.

Я также принимаю как не требующий доказательств тезис о существовании “нелогического ядра логически выстроенной теории”, об уровне “невопрошаемого” в социологическом теоретизировании. Феноменологическая философия вооружила социологию идеей *“epoché естественной установки”* — представлением о необходимости приостановки сомнения в реальности мира для существования в этом мире. Чтобы сороконожка могла сделать хотя бы шаг, она должна запретить себе задаваться вопросом “С какой ноги ходить?”. С тем же основанием мы можем говорить об *“epoché рефлексивной установки”* социального ученого — о приостановке сомнения в собственных аксиоматических допущениях. Сомнение в аксиомах блокирует дальнейшее рассуждение. Исследователи “социетальных трансформаций российского общества” не ставят под вопрос существование российского общества и возможности его трансформаций. Аналогичным образом и исследователи “порядков повседневного взаимодействия лицом-к-лицу” не сомневаются в наличии у людей лиц. (Впрочем, мало не сомневаться в существовании “социетальных трансформаций” или “выражения лица” — нужно научиться не сомневаться в их значимости для исследования.)

Аксиомы имеют не логическую, а имагинативную, образную природу. Мы исходим из того, что в основе любого социологического (и, вероятно, не только социологического) исследования лежит имплицитный образ изучаемого объекта. Имплицитные образы предпосланы концептуальным определениям и составляют их “твердое ядро”, между собой образ и концепт соотносятся как аксиоматический и теорематический уровни знания.

Образы носят до-логический и контингентный характер. С этим тезисом, по всей видимости, не согласились бы классики марксизма, для которых “предпосылки... не произвольны, они — не догмы; это действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении... Это — действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни,

как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путем” [Маркс, Энгельс, 1955]. Впрочем, данное утверждение классиков также аксиоматично и само по себе не может быть установлено эмпирическим путем, оно связано с имплицитным представлением о “действительных индивидах” и “материальных условиях их жизни” как о наиболее прочных основаниях нашего знания о мире. В той же мере аксиоматичным утверждением является и первое предложение настоящего фрагмента статьи — о необходимости предварительной экспликации аксиом; оно определяет все последующее рассуждение, не будучи определяемым ни одним из элементов этого рассуждения. (Собственно, поэтому я и назвал его “правилами хорошего тона” — за неимением другой опоры для аксиом придется ссылаться на негласные нормы этикета научной коммуникации¹.)

Имплицитные образы объекта, лежащие в основе теоретических описаний, зачастую принимают вид метафор². Фундаментальные метафоры “Общество как организм”, “Общество как Высшее существо” или “Общество как система” предпосланы социологическим описаниям, выполненным в технике “социетального реализма”. Социология науки оперирует своим набором фундаментальных метафор³: “Наука как политика”, “Наука как язык”, “Наука как этикет” и т.п.

Аксиоматика (посредством метафор) задает *оптику* теории. Оптика — это стратегия взгляда. Исследователь видит мир таким, каким его делает доступным взгляду его собственный теоретический словарь. Изменяя “настройку” теории, мы изменяем пространство ее “оптических” возможностей.

Оптика делает возможной *проблематизацию*. Операция проблематизации — постановки под вопрос, представления какого-то аспекта изучаемого объекта в образе “черного ящика” — возможна благодаря несомненности аксиом и ясности оптик. Поэтому эпистемическая проблема, проблема которую можно исследовать в пределах выбранных различий, — это всегда результат осмысленных усилий проблематизации и никогда не свойство самого объекта.

Наконец, последняя предпосылка данного анализа: оптика является условием *практики*. В конечном счете, исследователь может действовать лишь в границах “видимого”; поскольку используемые им понятия являются “условиями видимости” изучаемых им объектов, всякое исследова-

¹ В свою очередь, это не означает, что вся научная коммуникация потенциально сводима к “этикету” и “негласным правилам хорошего тона”, хотя такая идея и не покидает умов социологов науки. Наиболее остроумную “этикетную” или “церемониальную” модель описания научной коммуникации — модель, выстроенную с опорой на работы раннего Ирвинга Гофмана, — предложил Михаил Соколов.

² Сам по себе образ не тождествен метафоре. Можно сказать, что метафора представляет собой одну из форм бытования до-теоретического образа — форму, которая делает возможной его последующую теоретическую обработку и превращение в концепт. Мы исходим из того, что метафоры не рядоположны концептам, и потому принадлежат, скорее, к области до-теоретического, нежели собственно теоретического знания.

³ Фундаментальными здесь и далее называются метафоры, служащие для описания объекта дисциплины в целом и выполняющие функцию демаркации, первичного различения объекта / не-объекта.

льское действие — то есть действие эпистемическое, направленное на приращение знания об объекте — оказывается “оптически заданным”: невозможно изучать то, чего нет в словаре исследователя. А потому “теория” (выбранная осознанно или принятая имплицитно) есть в любом эпистемическом действии.

Аналогично: способность к самонаблюдению и самоописанию потенциально заложена в любом исследовательском языке. Из этого не следует, что рефлексия социального ученого — обязательный компонент его работы. Среднестатистический российский социолог может бесконечно долго рассуждать о “социальной и исторической детерминации форм знания” на примере “массовых представлений” “среднестатистических граждан” Российской Федерации, возводя генезис таких представлений к “негативной идентичности людей” и “историческим травмам”, полученным ими в результате “распада Советского Союза”. Однако требуется мужество, чтобы признать — тогда и его собственные объяснения имеют сходное происхождение, а значит, обусловлены его, исследователя, “исторической травмой”. Оптические возможности социолога всегда ограничены: “зоны видимости” окружены “слепыми пятнами”. Порой “слепым пятном” для исследователя оказывается сам исследователь.

Иллюстрацией такого образа науки служит метафора радара, который позволяет наблюдать самолеты задолго до их появления в зоне прямой видимости. Для того чтобы оператор мог их различить, в систему должно быть заложено отображение некоторого сегмента пространства в условную координатную плоскость, представленную на мониторе, а помимо этого — сложная совокупность идентификаций и различий (“самолет / не-самолет”, “свой / чужой” и т.п.). При этом у нас никакой “зоны прямой видимости” нет. Никто не видел “социальных установок” и “русского общества” воочию. (Кажется, что “выражения лиц” в отличие от социетальных структур доступны прямому наблюдению, но это тоже обман зрения: социологическое понятие “face work” [Goffman, 1967] имеет с “выражением лица” такое же отдаленное сходство, как ползущая по монитору точка — с самолетом.) Система локации создает лишь референции своих объектов на мониторах благодаря своим собственным средствам представления. Как замечает по этому поводу французский эпистемолог Ж.Никод: “Каждая система, в конечном итоге, знает только собственные изначальные формы и не умеет говорить ни о чем другом” [Nicod, 1924] (цит. по: [Бурдые, 1996]). (Данный тезис Никода относится к геометрии, но может быть использован применительно к научному познанию как таковому.)

Что любопытно, подобными объектами различения и идентификации могут выступать другие системы локации. Отсюда способность самореферентных научных языков к взаимному наблюдению и описанию — “считыванию”. Один язык может становиться ресурсом другого. К примеру, язык веберовской социологии был “считан” теорией Т.Парсонса. А язык парсонсовского структурного функционализма был “считан” сложившимся в среде “прогрессивных советских социологов” языком социетального анализа. (Поэтому анализ социетальных трансформаций российского общества невозможно себе представить без “структур”, “функций”, “институтов”, “символов”, “идентичности”, “интеграции”, “дезинтеграции” и “контроля”.)

В других случаях отношения языков носят характер “негативного маркирования”. По всей видимости, из-за представленной здесь аксиоматики, мой язык описания теми же прогрессивными (пост)советскими социологами будет заклеен как “постмодернизм” и “отрицание действительности по ту сторону дискурса о ней”. (Как будто наличие радаров отрицает существование самолетов.) Впрочем, есть целый корпус языков, которые идентифицируются как “постмодернизм” другим корпусом языков. “Постмодернизм” здесь — не содержательная характеристика, а “черная метка” негативного маркирования. (Еще одна метка: “рюшечки и бантики, отвлекающие исследователей от реальных проблем трансформирующегося посттоталитарного общества” или “эпигонство”, ориентация на “западные” научные образцы, созданные в “других обществах для других целей”.)

Чтобы облегчить идентификацию своего языка описаний для иных, относительно нейтральных систем различений, сделаю отсылку к теории коммуникаций Н.Лумана, феноменологической социологии А.Шюца, когнитивной социологии Э.Зерубавеля и теории событий А.Филиппова. Такие отсылки — способ контекстуализации, указание на ранее совершенные операции “считывания” (для облегчения последующих операций “считывания”) одних семантик другими.

Теперь мы можем вернуться от аксиом к анализу.

Еще раз зафиксируем два интересующих нас параметра картографирования: *события коммуникации* и *языки коммуникации*.

Одним из последних “предвоенных” событий коммуникации социологов (которое послужит нам отправной точкой) стал III Всероссийский социологический конгресс (2008). Полагаю, спустя 10–15 лет историки будут сражаться за возможность описать этот конгресс, прежде всего потому, что он сделал явными процессы кристаллизации нового языка постсоветской социологии. Приведу образцы такого языка: “Для нужд стабильного общественного развития необходимо обеспечить высокое качество прикладных социологических исследований”. Или: “...перед социологией сегодня стоят задачи изучения потребностей общества в социальной, психологической, экономической, энергетической, синергетической и иных формах безопасности”. Подобных примеров немало, и все они принадлежат к одному жанровому и стилевому единству. Любопытно в этой связи посмотреть материалы опроса участников Конгресса, проведенного организаторами мероприятия.

Из 2500 участников Конгресса, подавших заявки, на вопросы организаторов ответили 700 человек, 623 анкеты попали в обработку. Выяснилось, что 73% опрошенных владеют одним иностранным языком со словарем; 40% имеют опыт участия в работе органов государственной власти (после 2000 года) и примерно столько же — в работе бизнес-структур. Большинство опрошенных читают журнал “Социологические исследования” (66%), самый популярный в их среде учебник — учебник В.Добренькова и А.Кравченко; из зарубежных авторов, чьи книги произвели на них сильное впечатление, называют З.Баумана и П.Штомпку¹.

¹ Материалы опроса участников III Всероссийского социологического конгресса. Институт социологии РАН, Российское общество социологов. 2008.

Всякое событие коммуникации делает язык видимым и доступным “считыванию”, поскольку оставляет след. Утверждения о том, что “*российская социология развивается вполне удовлетворительно*” и, более того, “*наравне с западной наукой*”, не просто легитимируются событием Конгресса (этот вывод отбросит нас в семантику “легитимации”, “символической борьбы”, “власти”, “статуса”, “позиции в поле” и пр.). Такие перформативные утверждения сообщают статус реальности не столько объекту описания, сколько языку описания. Механизмом налаживания коммуникации служит выстраивание общего пространства ключевых определений, которые, как правило, носят характер трюизмов и тавтологий. Например, участникам Конгресса было предложено дать определение того, что такое социология. С отрывом победило определение “Социология — это наука об обществе”. На вопрос “Что такое общество?” основная масса респондентов дать ответ затруднилась, хотя пальма первенства принадлежит ответу “Общество — это социум”.

Оставим пока в покое трюизм. (Он — центральная фигура обихода научной коммуникации, “стершаяся дефиниция”, утратившая свое значение и приобретшая иную функцию — демонстрировать единство коммуникативного сообщества: “Мы с тобой одной крови, ты и я...”.) Но какова логика *тавтологии*? Никлас Луман называет тавтологические самоописания атрибутами “консервативных семантик”. Такие риторические формулы, как “Закон есть закон” (в повседневной коммуникации: “Надо, значит надо”, “Мы имеем то, что имеем” и т.п.), хорошо иллюстрируют его тезис. “Если предполагается, что общество — это то, что оно есть, то речь может идти лишь о том, чтобы сохранить его, решать его проблемы и дальше и, может быть, лучше, и содействовать ему в преодолении вновь появляющихся трудностей” [Луман, 1991: с. 198]. Впрочем, консервативные формулы запечатлены не только в аксиоматике и семантике коммуникации, развернувшейся на Конгрессе. Они легко обнаруживаются на всех ее уровнях.

В оптике “консервативного” языка социология понимается как социальная технология, а потому она должна быть полезной — прежде всего государству. Теория нужна, но российская, отечественная, отвечающая национальным интересам. И совершенно не случайны обвинения в адрес “отдельных либеральных социологов”, прозвучавшие на пленарном заседании Конгресса — мол, те на деньги Запада готовят “оранжевые революции”. Консервативные формулы консолидируют этот новый тип языка — тип, который мы далее будем называть “неосоветским”. Еще лет 5–7 назад производство консервативных языков имело характер кустарный и несистематичный: в Барнауле и Чите работали люди, которые придумывали разной степени герметичности языки (от “социологии жизненных сил” до “православной рериховской политологии”) и тестировали их на своих студентах / аспирантах / коллегах. Социологический конгресс показал, что складывается консолидированный “неосоветский” социологический язык с общими кодами, общими механизмами установления понимания, общей аксиоматикой, оптикой и логикой. Логикой тавтологии.

Что сообщает эта логика новому “неосоветскому” языку социологии? Прежде всего, запрет на критическую позицию. Критика возможна лишь как “конструктивная критика” — то есть критика техническая, позволяющая найти “конструктивное техническое решение”. Соответственно, “соци-

альной проблемой” называется то, что допускает такое техническое решение — “проблема как болезнь”, но болезнь обязательно излечимая (иначе подобная социология утрачивает право на существование). Перевод понятия “проблема” в технический план — лишь один из примеров работы распроблематизации, совершаемой тавтологичным неосоветским языком. Логика тавтологии — логика сокрытия. Но не сокрытия “реальных проблем” с последующей подменой их “проблемами вымышленными” (к такой критике неосоветских социологов склоняются их политические оппоненты). “Сокрытие” здесь — внятный и сознательный акт отказа от “лишних вопросов” и рефлексии как таковой. (Говорят, на вопрос одного из прихожан “А что делал Господь до сотворения мира?” Мартин Лютер ответил: “Он резал розги для тех, кто задает такие вопросы!” Но лучше всего логику тавтологии иллюстрирует старый советский анекдот об убийстве Кирова: “Кого убили — того убили! Кого надо, того и убили!”)

Что любопытно, несмотря на стремление избежать парадоксов и “технизацию” своей исследовательской проблематики, всякий тавтологичный язык внутренне парадоксален. Как замечает Луман, тавтология — это особая форма парадокса (обратное не верно). Ведь тавтология представляет собой различие, которое ничего не различает, а, напротив, утверждает тождественность различаемого.

Теперь посмотрим на другие события и альтернативные языки описания. Здесь невозможно проигнорировать симпозиум “Пути России” (ранее называвшийся “Куда идет Россия?”), проводимый Московской высшей школой социальных и экономических наук совместно с Интерцентром. Уже 18-й год подряд он представляет собой одно из самых заметных и регулярных событий коммуникации в социальных науках. В последовательности этих событий коммуникации также сложился свой язык, со своими теоретическими допущениями и метафорами. Если мы возьмем сборники “Путей России” за первые 15 лет (1993–2008) и проанализируем опубликованные в них тексты — например, посмотрим, как в них бытуют основные понятия — то получим представление не только о генезисе языка, но и о предлагаемых им ресурсах мышления. Так, понятие “трансформация” можно проследить с момента его зарождения в качестве концепта до момента его превращения в метафору, описывающую все что угодно — в том числе и трансформацию российского интеллектуального пространства. Что представляет собой трансформация интеллектуального пространства в данной оптике? “...Медленно идущее разложение институциональной системы советского общества вызывает синхронное функционирование научных коллективов, имеющих разную социальную природу и происхождение, принципиально разные источники и механизмы обеспечения и вознаграждения своей деятельности, и соответственно, ориентирующиеся на разные инстанции признания и образцы науки” [Гудков, 2006]. При всей своей архаичной громоздкости это очень внятный, внутренне согласованный язык описаний, с каждым годом становящийся все более и более герметичным. В нем — так же как и в “неосоветском” языке — можно выделить аксиоматические, принимаемые-всеми-как-не-требующие-доказательств идеализации.

Какие?

Во-первых, критический настрой по отношению к “кондовому” языку советской социологии и ее законному наследнику — консервативному неосоветскому новоязу. Во-вторых, эксплицитно заявленные либеральные идеалы: социология должна служить делу прогресса, становления гражданского общества, демократизации и либерализации. В-третьих, упор на эмпирическую работу: необходима социография, то есть квалифицированное описание “реальных проблем российского общества”.

Акцент на “реальных проблемах общества” здесь также не случаен. Словосочетание “реальные проблемы” (и определение списка этих проблем) выполняет в “антисоветском” языке ту же функцию демонстрации единства коммуникативного сообщества, что и трюизмы — в неосоветском¹. В текстах авторов “Путей России” оно повторяется бесчисленное количество раз и порой выглядит явно избыточным. Но дело не только в функции. За представлением о фундаментальном различии между “настоящими, подлинными, реальными проблемами российского общества” и “проблемами мнимыми, придуманными для отвлечения внимания от реальных проблем” стоит аксиома *наивного реализма* — представление об Обществе как об объективном социетальном единстве, со своими проблемами и недугами, которое “навязывает” повестку дня его исследователям. Социологи, исповедующие принцип наивного реализма, искренне верят, что их язык описания является производной от самого объекта описания. Так же, как Галилей полагал, что книга Природы написана на языке математики, наивные реалисты полагают, что книга Общества написана на языке социологии — причем, именно *их* социологии. Поэтому они вроде бы и не конструируют свой предмет описания, навязывая ему определения из лексикона структурного функционализма, а лишь выражают “*volonté generale*” — исследуют актуальные проблемы, поставленные перед ними самой действительностью.

Впрочем, даже наивные реалисты признают, что действительность эта фрагментарна, потенциальных языков ее описания — множество, и исследователь обречен на выбор между альтернативными семантиками. Как же примирить необходимость такого выбора с “объективными требованиями” общественного бытия? Посредством старого проверенного тезиса о “партийности социологии”! “Партийность” всякого исследователя постулируется в качестве само-собой-разумеющегося условия его работы. А значит, выбор языка описания исследователь делает в зависимости от собственной “партийной принадлежности”, исходя из того, “кто является инстанцией, удостоверяющей и сертифицирующей результаты научной... работы. Соответственно, кто заказчик исследований, на кого ученый внутренне ориентируется, что определяет его мотивацию и пр.” [Гудков, 2006: с. 26]. Мотивация же исследователя — продукт действия социальных сил. Следовательно,

¹ Прямая речь участников III ВСК также изобилует этим словосочетанием: “Постановка в центр внимания такого нового научного объекта, как современное российское общество и его проблемы”, “Выделение в качестве новой интегральной теоретико-прикладной социологической дисциплины социологии социальных проблем российского общества”, “...создание идентификатора социальных болезней нашего общества для их диагностики, профилактики и лечения”. Однако, как я уже отмечал, там под “реальными проблемами” понимаются проблемы технические, требующие управленческого решения (Материалы опроса участников III Всероссийского социологического конгресса).

определенным образом устроенное Общество производит определенным образом устроенных исследователей, которые его — Общество — определенным образом изучают. Наивный реалист — это всегда немного жрец собственного объекта исследований. Он верит, что посредством его исследовательских действий объект изучает сам себя.

Риску предположить, что за наивным реализмом социологов-либералов, впитавших в 1960–1970-е годы самобытно понятый структурный функционализм (изучение того, как практика чтения переводов из “спехрана” преобразила язык советской социологии, еще ждет своего часа), стоит парсонсовский тезис *аналитического реализма*. Парсонс полагал, что связь понятия и его объекта не произвольна. Точка на экране действительно “схватывает” самолет в каких-то наиболее значимых параметрах. Следовательно, наши концепты — суть отражения мира, а не чистые конструкции мышления. Такое эпистемическое решение позволило Парсонсу, по его собственному признанию, выйти из ловушки, которую А.Н.Уайтхед назвал “ошибкой неуместной конкретности”, — доказать, что в наблюдении каждой конкретной вещи уже присутствует абстрактная идея этой вещи. Однако абстрактное при этом не синонимично фиктивному: “Через такие источники я и пришел к своей концепции, которую назвал “аналитическим реализмом” и которая описывала вид интересовавшей меня теории как абстрактный по природе, но никоим образом не “фиктивный” в смысле Ханса Файхингера” [Парсонс, 1997: с. 212] (см. также: [Vaihinger, 1952]).

В то же время парсонсовский “аналитический реализм” предельно далек от наивного реализма отечественных социологов-шестидесятников и их наследников. Парсонс утверждал вслед за Л.Хендерсоном, что “факт есть высказывание об опыте в категориях концептуальной схемы” [Henderson, 1970]. То есть, эмпирический факт фактом становится лишь благодаря организуемой наблюдением концептуальной схеме и языку, на котором делается высказывание. Наивные же реалисты уверены, что действительность сама расставляет приоритеты и задача социолога — подобрать наиболее адекватный язык для работы с ней. Отсюда культ “материала”, “факта” и “данных” (все три слова — их нельзя даже назвать понятиями — используются нерефлексивно, как само собой разумеющиеся). А потому язык “антисоветской” социологии, столь отчетливо кристаллизовавшийся в событиях симпозиума, представляет собой смесь концептов Т.Парсонса с категориями здравого смысла, языка структурного функционализма — с языком публицистики.

Семантика описания российского общества в текстах “Путей России” за 15 лет претерпела существенные изменения. Начавшись с бурных дебатов о будущем российского общества, потеряв свой реформаторский драйв к концу 1990-х, коммуникация перешла в модус “либеральной критики” режима. Однако, несмотря на эволюцию риторических фигур, имплицитная формула описания оставалась всегда неизменной: “Это не то, что должно быть”. В 1990-е — “пока не то”, в 2000-е — “совсем не то”.

Так же как *тавтология* составляет основную формулу “неосоветских” языков социологии, “антисоветские” языки строятся на формуле *парадокса*. Парадокс — это архетип прогрессистских и революционных способов теоретизирования. Мышление в модели “X есть то, что он не есть” мы находим, например, у П.Бурдьё, который вслед за Б.Паскалем противопоставил тав-

тологии “Закон есть закон” парадокс “Закон — это произвол”¹. Как замечает Луман, парадокс не лишает общество тождественности самому себе, он лишь делает видимой асимметрию должного и сущего. Например, “...тождественность общества может быть перемещена в план некоей возможности, реализации которой препятствуют определенные силы: вспомним о популярных вариантах марксизма или о каргоизме” [Луман, 1996: с. 198]. Это темпорализация парадокса: общество — “уже не есть” или “еще не есть” то, что должно.

Основной тезис моего анализа: **между двумя формами постсоветской социологии — “неосоветской” и “антисоветской” — нет разницы**. Это глубоко “советские” по природе своей языки описания. Здесь нет никакого логического противоречия. В пределе, семантические формулы парадокса и тавтологии совпадают.

Обозначим ключевые аксиомы, общие для обоих типов языков.

1. *“Культура подозрения”*. Для обоих способов говорения незыблемым остается тезис: “За всяким знанием стоит политический интерес”. То, что вы говорите, вы говорите не потому, что вы так думаете или используете такой язык описания, а потому, что вы обслуживаете определенные политические силы, преследуете определенные интересы, ориентируетесь на определенные политические инстанции. Поэтому любая теория рассматривается с позиции ее “результата” — чего она “добивается” и “кому служит”. В коммуникации “неосоветских” социологов этот тезис заявлен эксплицитно: социология должна служить национальным интересам, а не “Западу” (отсюда обвинения в организации социологами-либералами “оранжевых революций”). У “антисоветских” социологов этот тезис носит несколько иное выражение. Так, Л. Гудков в сборнике “Пути России — 2006” пишет: “Вопросы теории и методологии социальных наук имеет смысл обсуждать только в контексте как самой идеологии социальных наук, так и реальной практики исследования. А это значит — только с учетом характера отбора теоретического и концептуального инструментария (что в ходу, для чего, какие концепции, что объясняют и для кого?). Кто является инстанцией, удостоверяющей и сертифицирующей результаты научной (и преподавательской, образовательной) работы. Соответственно, кто заказчик исследований, на кого ученый внутренне ориентируется, что определяют его мотивацию и пр.” [Гудков, 2006: с. 29]. Это тезис *qui bono* — мы ищем, кому выгодно, “чи уши торчат”. Якобы, изучая социальную структуру, отношения власти, распределение ресурсов и интересов, мы можем легко сказать, какой тип языка, ка-

¹ “Какими бы ни были принципы, включая и самые рациональные принципы самого “чистого” разума, например, математического, логического или физического, они всегда сводимы в конечном итоге к их происхождению, а значит — к произвольному истоку. **Основа закона есть не что иное, как произвол**, т. е. по Б. Паскалю — “правда узурпации”. А видимость естественности, необходимости закону придает то, что я называю “амнезией происхождения”. Рожденная из привыкания к обычаю, она скрывает то, что формулируется приведенной выше тавтологией “Закон есть закон, и больше ничего”. А как только мы хотим докопаться до корней, как писал Б. Паскаль, рассмотреть смысл существования закона и идем к самому его истоку, возвращаемся к его началу, то обнаруживаем один лишь произвол. У истока закона нет ничего, кроме обычая, т. е. исторического произвола исторического разума” (см.: [Бурдые, 1996]).

кой тип теории и какой тип научного исследования данных конкретный автор произведет¹.

2. *Утверждение ангажированности научного знания.* В несоветских языках социология ангажируется государством, а социологическое исследование подменяется социальными технологиями. В антисоветских семантиках предполагается, что наука должна служить делу прогресса. Не своему собственному делу науки, а именно делу прогресса. Почтенная идея о “знании ради знания” тут не находит отклика. Равно как и веберовская идея о науке, опирающейся на свои собственные ценностные основания, в которых познание признается достаточной мотивирующей ценностью. Познавать ради того, чтобы познавать, а не для того, чтобы решать актуальные политические задачи, — это не про постсоветскую социологию.

3. *Эмбарго на импорт любых теоретических конструкций “с Запада”,* если они не укоренены в нашей почве. Слово “почва”, конечно, из языка III Всероссийского социологического конгресса. В языке “Путей России” есть другая очень яркая метафора — “родимые осины”. Опять же, процитирую Л. Гудкова (я цитирую текст трехлетней давности, Лев Дмитриевич уже повторил эту чеканную формулу неоднократно, продемонстрировав завидное жанрово-стилистическое постоянство): “Заемствуемый концептуальный и теоретический язык — вещь небезобидная. Он создает эффект имитации собственной деятельности “под большую и настоящую” науку, стерилизуя собственные потенции работы и необходимость вдумываться в то, что же, собственно, представляет собой страна родимых осин” [Гудков, 2006: с. 35].

Тот же пафос — но без психоаналитического “страха стерилизации” — мы находим у Б. Дубина: “Результат: немногочисленные сегодня труды по теории и методологии... целиком переводные ... При заимствовании теорий ранг проблем, под описание которых их берут, снижается (понижаются тут, понятно, запросы, а не теории). Видимо, с этим связано явное предпочтение концепций среднего уровня в социальных науках, обращение, например, не к проблематике институтов, а к аморфной области “повседневного поведения”” [Дубин, 2006: с. 22].

Так или иначе, неприятие теоретического импорта и обращения к западным теоретическим дискуссиям — общий знаменатель как неосоветского, так и антисоветского социологического способа описаний.

4. *Нерефлексивность в отношении используемого языка.* Можно провести эксперимент: предложить коллегам проанализировать, что, собственно, стоит за каждым из употребленных ими понятий: в какой теоретический контекст они встроены, есть ли у них внятное поле референций. Далее, попросить эксплицировать аксиомы своего языка описаний, предложить выделить и развить используемые метафоры, и — уже совсем самоубийственный ход — учитывая ограниченность аксиоматики, попросить обозначить “слепые пятна” их анализа. Как показывает опыт симпозиума “Пути Рос-

¹ Нетрудно заметить, что эта аксиоматика (культура подозрения + тезис о партийности бытия) объединяет не только “неосоветских” и “антисоветских” социологов, но и тех, кто занимает по отношению к ним отстраненно-критическую позицию — сторонников бурдьевицких подходов к картографии научных сообществ. Действительно, трудно не поддаться искушению и не “объяснить” генезис постсоветских семантик партийностью их носителей.

сии — 2006” и нескольких сессий на Социологическом конгрессе, “консерваторы” и “либералы” одинаково не приемлют подобных предложений. В них им видится “постмодернистский уклон”, то есть попытка уклониться от священного долга изучения “самой действительности как она есть”. (После 2008-го года ситуация разительно изменилась.)

5. *Культ эклектики.* Л.Гудков особо отмечает в своих текстах способность, отсутствие которой препятствует, по его мнению, развитию теоретической социологии в России. Способность эту он называет “умением сочетать”. Умение сочетать, однако, невероятно развито и в “антисоветском” и в “неосоветском” способе говорения. Оно представляет собой склонность брать принципиально разные, не родственные и не близкие друг к другу теоретические подходы и сочетать их для нужд создания своего собственного описания, на самом поверхностном уровне и зачастую совершенно несочетаемым образом. Такого рода эклектизм блокирует всякую теоретическую дискуссию, подменяя вдумчивую работу с текстами их упоминанием для легитимации собственного, как правило, глубоко самобытного рассуждения.

Очевидно, двумя этими идеологизированными семантиками — тавтологической и парадоксальной — постсоветская социологическая наука не исчерпывалась. Возникали и принципиально иные языки описаний. Правда, возникали они либо по ту сторону “мэйнстрима”, либо по ту сторону МКАДа (например, в Санкт-Петербурге). И пока в мировой коммуникации противостояли друг другу сторонники социоанализа и фрейд-анализа, феноменологии и этнометодологии, в отечественной науке друг с другом боролись социологи-консерваторы и социологи-либералы. Собственно, поэтому мы и регистрировали в конце 2000-х дефицит языков описания: социологический способ говорения свелся к политически ангажированной публицистике, а риторика “родимых осин” стала осиновым колом социологической мысли.

Этот упрек в большей степени адресован социологам из близкого мне по политическим предпочтениям¹ и абсолютно чуждого идейно лагеря либералов. (Прежде всего, потому, что собственно интеллектуальное влияние их оппонентов последние 15 лет оставалось ничтожным.) “Ставкой” в борьбе с режимом оказалась ценность научного познания. Социология использовалась как инструмент обоснования политических суждений: исследование признавалось ценным, если позволяло обосновать, например, необходимость освобождения несправедливо осужденного М. Ходорковского. Очевидно, никакой самостоятельной ценности — ценности “знания ради знания” — такие исследования не имеют.

¹ Так же как в предложенном здесь способе картографии языков “правилом хорошего тона” являются экспликация аксиом, указание на собственные недоказуемые допущения (что я и предпринял в начале статьи), в картографии бурдьевистского толка аналогичным правилом хорошего тона полагается “самообъективация познающего субъекта”. Иными словами, “картограф” должен объективировать то влияние, которое оказывают на него идейные отцы, политические союзники, значимые институты и иные силы, определяющие движение его картографирующей мысли. В первую очередь это означает сделать явными свои политические диспозиции в их связи с позицией “картографа” в картографируемом поле (см.: [Бурдьё, 2002]). Поскольку мы не придерживаемся такой логики картографии, то указание на политические предпочтения нам кажется нерелевантным основным аргументу и приводится здесь лишь в качестве риторического отступления.

Мой критический аргумент в основных чертах воспроизводит критику Н. Бердяевым “интеллигентской правды”, противостоящей философской истине: “У интеллигенции всегда были свои кружковые, интеллигентские философы и своя направленная философия, оторванная от мировых философских традиций... Интеллигенцию не интересует вопрос, истинна или ложна, например, теория знания Маха, ее интересует лишь то, благоприятна или нет эта теория идее социализма, послужит ли она благу и интересам пролетариата; ее интересует не то, возможна ли метафизика и существуют ли метафизические истины, а то лишь, не повредит ли метафизика интересам народа, не отвлечет ли от борьбы с самодержавием и от служения пролетариату” [Бердяев, 1909]¹. Вместо идеи социализма — идея демократии, вместо самодержавия — “путинский политический режим”, борьба с которым и является высшей ценностью, подминающей ценность познания как такового. “Защитников безусловного и независимого знания, — продолжает Бердяев, — знания как начала, возвышающегося над общественной злобой дня, все еще подозревают в реакционности... В этом своеобразном отношении к философии сказалась, конечно, вся наша малокультурность, примитивная недифференцированность, слабое сознание безусловной ценности истины и ошибка морального суждения”.

Однако слова “ценность”, “истина” и “суждение” имеют принципиально различные коннотации в языке философии и языке науки. Что означает “безусловная ценность истины” применительно к этике социологической работы? Для ответа на этот вопрос потребуется еще одно — последнее — отступление в область эпистемологии социальных наук.

Занятия наукой — в пределе — суть *ценностнорациональные действия*. Это утверждение означает, что в основании любого исследовательского (эпистемического) предприятия лежит этический императив — императив поиска истины. Слово “истина” здесь звучит несколько высокопарно (особенно после всех наших вводных допущений о “науке как языке”), однако у такого определения есть внятное поле референций: наука как ценностнорациональное действие предполагает сознательный отказ от превращения научных занятий в средство достижения политических, карьерных или иных целей. Ученый — если он действует в этот момент как ученый — движим ценностью Истины (а не Любви, Красоты, Справедливости или либеральной Демократии). Именно так нам предлагает мыслить науку Макс Вебер.

“Какова же внутренняя позиция самого человека науки по отношению к своей профессии, если он вообще стремится стать ученым? — спрашивает Вебер. — Он утверждает, что занимается наукой “ради нее самой”, а не только ради тех практических и технических достижений, которые могут улучшить питание, одежду, освещение, управление” [Вебер, 1990: с. 712]. Это слова Вебера из его знаменитой публичной лекции “Наука как призвание и профессия”, которая, безусловно, не является научным трактатом. Но наивно полагать, что данное утверждение — утверждение **ценностного суверенитета** науки — как-то противоречит положениям веберовской социологии. Ей предпослана та же неокантианская философия действия, что и остальным его работам (может быть, исключая работы последнего периода жиз-

¹ Я благодарен Кириллу Титаеву, обратившему мое внимание на этот аргумент.

ни). В неокантианской картине мира царству бытия противопоставлено царство ценностей. Действующий выходит за пределы своего наличного бытия, обращается к миру ценностей, находит смысл и воплощает его в конкретном действовании. То есть само практическое действие — это отражение некоторой ценности в тусклом и кривом зеркале бытия. Пламенный либерал движим ценностями прогресса и свободы в своем стремлении обличить застойный режим “притворной демократии”. Но в этот момент он просто не имеет права называться социологом, поскольку его действия осмыслены не в соотношении с ценностями познания — они принадлежат другому ценностному порядку. Последнее утверждение может показаться спорным: почему нельзя, проводя исследование, помогать Родине или способствовать установлению Демократии? Потому что “различные ценностные порядки мира находятся в непримиримой борьбе”, отвечает Вебер [Вебер, 1990]. И если исследовательские действия ученого подчинены ценностному порядку особого рода, то у него не может быть иного мотива, кроме мотива познания.

С веберовским утверждением не согласились бы представители одной социологической фабрики, избравшие своим девизом императив “*Знать, чтобы победить*”. Однако за этим слоганом стоит не “хвастливый сурковский цинизм” и “политика путинской администрации” (как полагают представители другой социологической фабрики, привыкшие использовать “мерзости режима” в качестве универсальной объяснительной модели), а классический афоризм Огюста Конта: “*Знать, чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы управлять*”. Конечно, технологизация научной работы несовместима с представлением о ценностном суверенитете науки. Но несовместима с ним и политизация науки в духе тезиса о партийности бытия (“...у нас разные политические ценности, поэтому мы по-разному описываем этот мир на языках разных социологических теорий”).

Веберовское наукоучение наделяет науку ценностным суверенитетом (то есть собственным ценностным порядком *sui generis*), а потому бессмысленно говорить о ее “ценностной нейтральности”. Ученый не должен (да и не может) “освободиться от ценностей”. (Вебер действительно говорит не о свободе от ценностей, а о свободе от оценок.) Однако его ценностью — ценностью ученого — является самостоятельный поиск истины и только он один. Никакой другой “особой заинтересованности в реальности” у него нет. Потому что только этот поиск и конституирует действующего как ученого. Стремление же обосновать собственную политическую ангажированность ссылкой на различие “отнесения к ценности” и “практической оценки” выглядит, как минимум, противоречивым. Веберу это различие служит для обоснования прямо противоположного утверждения: отнесение к ценности делает возможным общезначимое суждение — суждение, значимое в границах данной дисциплины, значимое для ученых как ученых, независимо от их партийной принадлежности [Weber, 1951: S. 122]. Потому что за таким суждением стоит отнесение к ценности истины, а не к ценностям политического или иного порядка. (Здесь меня легко упрекнуть в том, что я приписываю Веберу тезис Риккерта. Действительно, Риккерт и Вебер — особенно поздний Вебер — по-разному понимают природу царства ценностей. Но, во-первых, Вебер сам утверждает, что цель его исследований — “проверить, применимы ли идеи Риккерта к методологии нашей дисциплины” [Weber, 1951: S 7]; а во-вторых, различия в понимании “отнесения к ценности”

Риккертом и Вебером никоим образом не затрагивают основного моего аргумента — это легко установить простым сравнением веберовских и риккертовских текстов [Риккерт, 1997].)

Каким образом в постсоветской социологии различие “практической оценки” и “отнесения к ценности” стало служить оправданию политической ангажированности социологов? Это тема отдельного исследования. Убедительную гипотезу предложил Ю. Давыдов: в силу исторических обстоятельств Вебер советскими социологами был прочитан сквозь сильно примитивизированного Парсонса [Давыдов, 2000: с. 495–515]. Таким образом, “ценности” в этом словаре описаний были редуцированы к “символам” и релятивизированы, а операция “отнесения к ценности” стала чем-то вроде принесения жертвы идолам своей партии. В итоге сегодня нормой публичной дискуссии оказывается оправдание собственной политической ангажированности — под видом “отнесения к ценности” — ссылками на М. Вебера (хотя П.Бурдьё в качестве легитимирующей фигуры здесь был бы гораздо уместнее¹).

Впрочем, увлекшись полемикой, мы уклонились от ответа на куда более важный вопрос: как сочетаются веберовское акцентирование ценностных оснований науки и рассмотрение науки в логике “языков описаний”, “семантик” и “ресурсов воображения”? Насколько совместимы две метафоры: “наука как язык” и “наука как ценностнорациональное действие”? Наш ответ: они совместимы ровно настолько, насколько идея “ценности” может быть переведена из плоскости аксиологии в плоскость эпистемологии. Иными словами, нужно ответить на вопрос: что представляют собой ценности не как элементы трансцендентного царства ценностных порядков, враждующих друг с другом и генерирующих смыслы социальных действий (в том числе эпистемических), а как основание языка социологии.

Обратимся еще раз к уже цитировавшейся работе Н. Лумана. “Ценности, — пишет он, — суть “слепые пятна”, которые вооружают способностью к наблюдению и действию. Ценностность ценности есть та позиция, исходя из которой наблюдают, требуют, ангажируются и обнаруживают себя способными к действию... В фиксированной таким образом [обусловленной ценностью] перспективе видят лучше (четче, глубже, а также дальше в будущее), но именно в силу этого подставляют себя также и под наблюдение со стороны других. Ценности не суть формулы согласия, напротив, они побуждают к критическому наблюдению наблюдения” [Луман, 1991:

¹ Ср.: “В умах большей части образованных людей, особенно тех, кто занимается общественными науками, присутствует дихотомия, которая мне представляется совершенно губительной: раскол между *scholarship* и *commitment*, между теми, кто посвящает себя научной работе, используя научные методы и адресуя свои труды другим ученым, и теми, кто вступает в бой, вынося свои знания за пределы научного сообщества. Это противопоставление — искусственное. На самом деле нужно быть независимым ученым, который работает по правилам *scholarship*, для того, чтобы производить ангажированное, легитимно ангажированное знание, и вводить это знание в бой” [Бурдьё, 2002: № 5]. Подвох здесь кроется в понятии “**легитимно** (sic!) ангажированного знания”. Чем определяется легитимность различения легитимной и нелегитимной ангажированности? Боюсь, обсуждение этого загадочного предиката и “критериев легитимации критериев легитимации” приведет нас к классическому парадоксу о сторожах сторожей.

с. 206]. В этом описании видно, как “ценность” сближается с “аксиомой”. Та позиция, на которой стоит наблюдатель, — это именно то, чего он не видит (в логике исторического анекдота про Эйфелеву башню: в ресторан на ее вершине приходят для того, чтобы наслаждаться видом Парижа без Эйфелевой башни). И набор подобных позиций, которые позволяют осуществлять наблюдение и действие¹, оставаясь в “системе науки”, ограничен. Именно такого рода ограниченность и свидетельствует о ценностном суверенитете науки по отношению к другим ценностным порядкам. Ценности, определяющие границы языка описаний, Луман называет “собственными ценностями” системы (Eigenvalues).

Конечный, предельный характер ценностных порядков обуславливает бинарность описаний. Либо данное суждение имеет отношение к науке, либо нет. Если нет, оно может быть справедливым, прекрасным, моральным и политически важным, но оно не релевантно научной коммуникации — оно просто сделано на другом языке. Высказывание, сделанное с позиции политически ангажированного субъекта, может быть сколь угодно ценностным, но ценности эти не являются собственными ценностями системы науки. Когда такие высказывания и суждения начинают имитировать научную коммуникацию, подменяя ее собой на конференциях, конгрессах и симпозиумах, они, прежде всего, наносят удар по ценностному суверенитету науки (размыкают ее самореференцию), загоняют коммуникацию в тупики тавтологий и парадоксов.

Что изменилось за несколько лет, прошедших со времен первых баталлий о несостоятельности постсоветской социологии как научного проекта?

1. *Проблематизация аксиом.* Те аксиомы, на которых держались оба языка — несоветский и антисоветский, были проблематизированы. Превратившись из аксиом в проблемы, они утратили свою функцию цементирования общей игровой площадки. Даже такой трюизм, как “Наше общество изменяется. И эти изменения надо изучать!”, больше не выглядит чем-то само собой разумеющимся.

2. *Эмансипация теории.* Теоретическая работа вышла из гетто “узких и интересных лишь специалистам схоластических дебатов”. Стандартная идеология ранее выглядела так: “Стране не нужны теоретики — стране нужны исследователи, изучающие страну. Пусть 50 человек на своих небольших кафедрах обсуждают подробности детства Дюркгейма и связь восьмого параграфа третьей главы Лумана с третьим абзацем второго параграфа Витгенштейна, но их влияние должно быть ограничено”. Сегодня присутствие в публичной сфере тех, кто обсуждает связь параграфов и абзацев чуть ли не выше, чем тех, кто проводит массовые опросы. Просто потому, что именно недавние обитатели теоретических гетто составляют главную альтернативу ангажированным исследователям. И это, очевидно, опасная тенденция — опасная именно для теоретиков, которые неожиданно для себя оказались в положении новых публичных интеллектуалов.

¹ Здесь, по-видимому, философским ресурсом для рассуждения Лумана служит не аксиология баденской школы неокантианства (отправная точка веберовской социологии), а прагматистская трактовка “ценности” Уильямом Джемсом (см.: [James, 1983]).

3. *Отмена эмбарго на теоретический импорт.* Это изменение, явившееся закономерным следствием предыдущей тенденции и немедленно охарактеризованное в риторике “родимых осин” как “расцвет социологического карго-культа”, привело к стремительной сегментации теоретических языков. Теперь релевантными собеседниками для отечественных теоретиков в большей степени являются их зарубежные коллеги, пользующиеся теми же теоретическими языками, нежели их собственные соседи по факультету. Через несколько лет российскому специалисту по этнометодологии будет и вовсе нечего обсуждать с коллегами по социологическому цеху в России, что автоматически означает не только распад единого коммуникативного пространства, но и увеличение академической эмиграции.

4. *Усиление поколенческой риторики.* Конфликт языков и аксиоматик был немедленно переописан в терминах конфликта поколений. Мы оставим эту тенденцию без комментариев. Отметим только, что это переописание имеет мало общего с содержанием дискуссий.

5. *Проблематизация научного сообщества.* Если в 1990-е и 2000-е еще сохранялась иллюзия некоторого трансцендентного академического сообщества, выступавшего гарантом отдельных социологических высказываний, то сейчас место такой инстанции обоснования вакантно. Сам термин “сообщество” уже не кажется чем-то адекватным для описания актуального состояния российских социологов (см.: [Юдин, 2011: т. 1]).

6. *Делегитимация социологических институтов.* Академические институты теряли свою легитимность в России на протяжении довольно длительного периода, но именно сейчас активно началась деинституционализация социологической жизни. Содержательные социологические обсуждения чаще ведутся в кафе, чем в аудиториях. Для значительной части участников споров о социологии сайт polit.ru кажется более уместной коммуникативной площадкой, чем любой из существующих социологических журналов.

Последовала ли за описанными изменениями действительная “суверенизация” социальной науки именно как науки? Затрудняюсь ответить. В то же время такая суверенизация впервые за много лет оказалась на повестке дня социологических дебатов...

К этим изменениям можно отнестись как к “моде” (А.Гофман), можно приписать их досадной фрагментации дисциплины (Н.Покровский), тлетворному влиянию постмодернизма (Л.Гудков), атаке воинствующих теоретиков (А.Чепуренко), проявлениям уязвленного самолюбия (В.Ядов, М.Черныш), конфликту академических цивилизаций (М.Соколов). Однако сами эти изменения уже достаточно оформились, чтобы их можно было сделать предметом скрупулезного эпистемологического исследования.

Источники

Бердяев Н. Философская истина и интеллигентская правда / Бердяев Н. // Вехи. — С.1., 1909.

Бикбов А. Российская социология: автономия под вопросом / А. Бикбов, С. Гавриленко // Логос. — 2002. — № 5/6. — С. 186–210.

Бурдые П. Заангажированное знание / П. Бурдые // Неприкосновенный запас. — 2002. — № 5.

Бурдые П. За рационалистический историзм / П. Бурдые // Социо-Логос постмодернизма : Альманах Российско-французского центра социологических исследований Института социологии РАН. — М. : Ин-т эксперимент. социологии, 1996.

Бурдые П. Опыт рефлексивной социологии / П. Бурдые // Теоретическая социология : антология / пер. с англ., франц., нем., итал. ; сост. и общ. ред. С.П. Баньковской. — М. : Университет, 2002.

Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избранные произведения / Вебер М. — М. : Прогресс, 1990.

Гудков Л.Д. О ценностных основаниях и внутренних ориентирах социальных наук / Л.Д. Гудков // Пути России: проблемы социального познания. — М. : МВШСЭН, 2006.

Давыдов Ю.Н. Веберовский ренессанс и наша перестройка / Ю.Н. Давыдов // История теоретической социологии. — СПб. : РХГИ, 2000. — Т. 4. — С. 495–515.

Дубин Б.В. Беспроblemность, симуляция, технологизм: общественные науки в сегодняшней России / Б.В. Дубин // Пути России: проблемы социального познания. — М. : МВШСЭН, 2006.

Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества / Н. Луман ; пер. с нем. А.Ф. Филишова // Социо-Логос: социология, антропология, метафизика. — М. : Прогресс, 1991.

Маркс К. Немецкая идеология / К. Маркс // Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. — М. : Госполитиздат, 1955.

Парсонс Т. Система современных обществ / Парсонс Т. — М. : Аспект-Пресс, 1997.

Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий / Риккерт Г. ; вступ. ст. Б.В. Маркова. — СПб. : Наука, 1997.

Хайдеггер М. Вещь / Хайдеггер М. // Время и бытие. — М. : Республика, 1993.

Юдин Г. Иллюзия научного сообщества / Г. Юдин // Социологическое обозрение. — 2011. — Т. 1.

Goffman E. On face work // Interaction Ritual / Goffman E. — N. Y., 1967.

Henderson L.J. On the Social System / Henderson L.J. ; Ed. by B. Barber. — Chicago, 1970.

James W. On a Certain Blindness in Human Beings / James W. // The Works of William James. — Cambridge, 1983.

Nicod J. La géométrie dans le monde sensible / Nicod J. — Paris, 1924.

Vaihinger H. The philosophy of "As if" / Vaihinger H. — S.l. : Barnes & Noble, 1952.

Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. — Tübingen, 1951.